

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

— Ну как, Наденька, прошел первый день в гимназии? — спросил Роман Трифонович сестру жены. Втайне он считал девочку своей воспитанницей. — Какие сделала открытия?

— Открытие одно, но зато огорчительное, — очень серьезно ответила восьмилетняя гимназистка.

— И что же тебя огорчило?

— Нам задали выдумать пример на сложение. Все девочки складывали яблоки, конфеты или плюшевых зайчиков с куклами, а я, дядя Роман, взяла да и сложила всех своих пятерых братьев и одну сестру. Знаешь, сколько им всем вместе лет? Сто сорок три года ровнехонько, можешь себе представить? А потом, когда я разделила общую сумму на свои восемь лет, получилось, что семья старше меня в семнадцать с половиной раз. В семнадцать с половиной! Это же ужас какой-то...

Наденька была так потрясена собственным открытием, что тяжело вздохнула и угнетенно покачала головой. А Роман Трифонович с трудом спрятал улыбку.

— И как же оценили твой титанический труд?

— Меня похвалили и поставили «пять», но я все равно очень и очень расстроена.

— Отчего же, Надюша?

— Как же трудно быть младшей в большущей семье, если бы ты только знал, дядя Роман! В семнадцать с половиной раз труднее, чем обычной девочке с одним братом.

— И в самом деле. — Хомяков удивленно пожал плечами. — Как же теперь быть?

— Надо поступать по-своему, вот и все.

Наденька и впрямь оказалась самой младшей во всей рано осиротевшей семье Олексиных — даже Георгий родился на четыре года раньше, хотя остальные братья и сестры были погодками. И явилась-то Наденька на свет неожиданно-негаданно, получив все шансы стать балованной игрушкой для всей огромной семьи, если бы не череда следовавших трагедий.

Наденьке исполнилось всего два года, когда внезапно скончалась мама. Умерла вдруг, мгновенно, упав лицом в грядку, которую так упрямо любила полоть на рассвете. Умерла одна, а осиротели все одиннадцать: десять детей и отец, оставшийся без нежного всепрощения и преданной негромкой любви. А через год, защищая честь девушки, на дуэли погиб брат, портупей-юнкер Владимир. За ним вскоре последовал отец, потрясенный и этой потерей, и сообщением, что его тайная гордость и надежда старший сын Гавриил Олексин угодил в турецкий плен, сражаясь за свободу Сербии. Из того плена Гавриил бежал сам, а вот из плена собственной чести убежать не смог и пустил себе пулю в сердце, не пожелав разделить с императором Александром Вторым политического предательства болгарского народа. А спустя два года сестра Маша прикрыла собственным телом бомбу, которую сама же и намеревалась метнуть в уфим-

ского губернатора. Только в тот морозный солнечный день в санях рядом с губернатором оказались дети, а бомба уже была приведена в действие, и у Машеньки не оказалось иного выбора...

Так уж случилось в их семье: пять смертей за четыре года. Но семейные трагедии Наденьку, в общем-то, пощадили. И потому, что она была еще очень мала, и потому, что старшие берегли ее как могли и умели. Для них Наденька навсегда осталась маленькой: обстоятельство, способное беспредельно избаловать натуру бездеятельную, но вселяющее непреодолимую потребность доказательств самостоятельности в натуре активной и весьма самолюбивой.

Из десяти братьев и сестер в живых осталось семеро, и шестеро из них покинули родимое гнездо. В родовом имении Высоком теперь жил только Ваня, ныне — Иван Иванович, с успехом закончивший петербургскую «Техноложку» сразу же после Русско-турецкой войны. Он получил весьма выгодное казенное место в Варшаве, но затем ушел со службы из-за трагедии уже личного свойства. Служил землемером при Ельнинской управе, учительствовал, а выезжал редко и, как говорили, начал попивать.

А воспитывала Наденьку старшая сестра Варвара, супруга миллионщика Романа Трифоновича Хомякова. Впрочем, она всех воспитывала, кроме Гавриила да, пожалуй, Василия, но всех — со строго сведенными бровями, а Надю — с улыбкой, просто потому, что Наденька попала в ее властные руки еще во младенчестве. Дело в том, что Варвара внушила себе сразу же после кончины маменьки, что ответственна за семью отныне и навсегда, что это ее крест, и несла этот добровольно принятый крест с достоинством, но не без гордости. Она обладала редким даром не предла-

гать помощь, а помогать. Подставляя плечо под чужую ношу как-то само собою, без громких фраз, а тем паче — просьб. И когда ее единственная любовь — обобранный сановными казнокрадами Роман Трифонович Хомяков (еще в ту войну, двадцать лет назад!) явился к ней в Бухарест без копейки, сказав, что отныне она свободна от всех своих слов и обещаний, Варя не оставила его, не бросила одного в чужой стране и в чужом городе. Не просто потому, что любила, любила не по-олексински, не очертя голову, а так, как способна была любить только маменька, одна маменька, простая крепостная девочка — раз и на всю жизнь, до гробовой доски, — но и потому, что вдруг ощутила себя сильнее самого Романа Трифоновича и со счастливым, полным ответственности и надежд сердцем взвалила на свою душу и его судьбу. Тут же сама, не торгуясь, распродала то, на что еще не успели наложить лапы вчерашние компаньоны, и увезла Хомякова в спасительное родовое гнездо. В Высокое.

Тихим был тогда повелительно громкий, неутомимо азартный и преданно влюбленный в нее бывший миллионщик. Только глаза ни на миг не угасали.

— Встанем, Варенька, поднимемся. Врешь, нас и с ног не собьешь, и скулить не заставишь!

Заложили имение в селе Высоком, всего-то год назад выкупленное из прежнего, первого заклада тем же Романом Трифоновичем. Переписали заводик племянника на Варю, продали в Москве отцовский дом и все драгоценности — свои и маменькины, — купили задешево, по случаю, большую партию хлопка у разорившегося поставщика — сработали старые связи и прежние миллионные обороты удачливого доселе предпринимателя Хомякова, — и лишь

тогда Роман Трифонович предложил Варю не только любящее сердце, но и супружескую руку.

— Раньше не мог, права не имел, ты уж прости меня. А за веру в меня и терпение твое я тебе такой дворец отгрохаю, что на наши вечера и великие князья в очередь записываться будут.

Обвенчались в старинной церкви села Уварова: мама очень любила эту тихую церковь, и Варя выбрала ее для самого счастливого дня своей жизни. Гостей было немного, только родные, но Варю это не огорчило. Она была на седьмом небе, да и Роман Трифонович прочно становился на ноги.

— Придется, Варенька, нам в мой городишко перебираться, в старый дом, — сказал он вскоре после свадьбы. — К фабрикам поближе: им глаз да глаз нужен, дела в гору пошли.

К тому времени уже тихо отошла тетушка Софья Гавриловна, в их московском доме всем заправляла верная Дуняша, а Высокое можно было оставить без особых тревог на Леночку. И Хомяковы уехали к своим во все трубы дымящим заводам.

2

О Леночке Надя знала только то, что ее в последнюю войну спас Иван, а Маша переправила смертельно перепуганную девочку в Высокое. Только это, и ничего более. Никаких подробностей никто и никогда ей не сообщал, да Надя и сама не расспрашивала, сразу влюбившись в черноглазую гречанку, упрямо осваивающую русский язык. Была в Леночке какая-то притягательная тайна: она почти никогда не улыбалась, а в присутствии своего спасителя Ванички Олексина странно замыкалась, внутренне мучитель-

но съезживаясь. Это, впрочем, не помешало ей стать хорошей заменой Варваре: она помнила и знала, что, как и в каком порядке следует делать в имении, и, не обладая Вариной непререкаемой волей, восполняла ее неустанным вниманием. От ее огромных темных глазищ никогда ничего не ускользало, напоминания были тихими, точными и на редкость своевременными, и к ее голосу все почему-то стали вдруг прислушиваться.

«Очаровательная книга приходов и расходов» — так определил ее Георгий, к тому времени уже юнкер Александровского училища. И попытался было за нею приволокнуться, но получил от Ивана такую отповедь, что тут же и угомонился...

Наденька любила листать семейный альбом и вспоминать детство. С толстых гляцевых паспарту на нее смотрели добрые, умные юные лица ее братьев и сестер — живых и уже покойных. Нет, не покойных. Беспокойных погибших.

«Олексины не умирают в постелях», — говорил отец. Она не помнила его, но ясно представляла по рассказам. Отставной гвардейский офицер, богатый помещик, родовитый дворянин, до безумия влюбившийся в крестьянскую девочку. Настолько, что, презрев свет и все его условности, обвенчался с нею, заперев самого себя в гордыне полного одиночества. Никуда не выезжал, никого не принимал, ни с кем не прятельствовал и никого не признавал, кроме своей Анички и овдовевшей сестры Софьи Гавриловны. И мама любила его таким, каков он был, в любви и нежности родив ему десять детей: семь мальчиков и трех девочек. И она, Наденька Олексина, завершила эту мамину щедрость.

Отец и мама тоже умерли не в постелях, но их фотографий в альбоме не оказалось: отец терпеть не

мог новомодных штучек. Было два портрета хорошей кисти в большой гостиной их двухэтажного барского дома в Высоком. Суровый мужчина с горделиво вскинутым подбородком и милая синеглазая крестьяночка с ямочками на тугих, как антоновка, щеках. А фотографии братьев и сестер были все до единой: за этим очень следила Варя. Даже фотография Владимира, раньше всех погибшего на дуэли...

А потом Наденька переехала в Москву, и ее тут же отправили в самую дорогую частную гимназию мадам Гельбиг: на этом настояла Варя. В ней учились на целый год дольше, чем в обычных, и каждый день — два раза по полчаса — занимались противной немецкой гимнастикой. Надя ее терпеть не могла, но старалась изо всех сил, потому что Николай — к тому времени уже юнкер — сказал:

— Гимнастика — тренировка воли, а не тела. Через «не могу», «не хочу», «не желаю».

— А зачем женщинам воля? — Наденька безмятежно пожала плечиком. — Женская сила в нежности.

— Воля — основа культуры. Животные ею не обладают, Наденька, потому что им незачем обуздывать свои страсти.

До страстей было, правда, еще далеко, но Надя совета послушалась. Может быть, потому, что любила Колю чуть-чуть, самую чуточку больше остальных братьев. За подкупающую непосредственность.

— Это у него от мамы, — говорила Варвара. — Наша мама, царствие ей небесное, была непосредственной, как сама природа.

Ваня тоже был непосредственным и увлекающимся, но... Все в нем сторе́ло, когда Леночка, уже дав согласие стать его женой, внезапно сбежала чуть ли не с первым встречным, и Иван недолго продержался

после этого. Стал попивать, потом оставил службу, заперся в Высоком, как когда-то отец в Москве. Только отец за жизнь в добровольном затворе получил любовь и детей, а Иван — тоску и пьянство, постепенно превращаясь в «шута горохового».

Так называл Ивана Федор, и Наденька относилась к преуспевающему братцу Федору с прохладцей. О нем вообще избегали говорить в семье, и она понимала почему. Федор Олексин определил смысл собственной жизни как восхождение по лестнице чинов и званий, полагая карьеру единственной высокой целью. Прочие же полагали целью жизни служение народу, личное достоинство или незапятнанную честь, хотя об этом и не говорили. А о карьере говорить приходилось, поскольку такая цель не выглядела самодостаточной в умах и настроениях общества и, следовательно, требовала объяснений. И Федор неустанно толковал о собственных успехах, скорее оправдываясь, нежели объясняясь.

— Понимаешь, товарищ министра попросил. Именно попросил ради пользы государства. Можно ли отказать было?

Карьера всегда оправдывалась только делами государственными, а все остальное — даже служба в армии — в оправданиях не нуждалось, воспринимаясь естественно, как воспринимался долг. Наденьке как-то сказал Василий, что отец очень любил повторять старшим — ему, Гавриилу, Владимиру и Федору:

— Занятия, достойные дворянина, — шпага, крест да книга.

Шпагу избрало большинство ее братьев: погибшие Владимир и Гавриил, теперь — Георгий и Николай. А Федор, поначалу цепко ухватившись за нее, вско-

ре, однако, заменил шпагу мундиром, но Олексины внутренне не восприняли этой замены. И не могли воспринять.

Впрочем, не все одинаково. Николай скорее жалел брата, углядев в его выборе роковую ошибку, и всячески старался растопить образовавшийся семейный ледок:

— А так ли уж волен человек в своих желаниях? Иногда обман зрения манит ярче, нежели то, что есть на самом деле.

Генерал Федор Иванович изо всех сил сдерживал личные обиды, но от тесных семейных связей все же как-то отошел. Исключение было одно: теплее всех он относился к Николаю. И не только потому, что тот искренне стремился хоть как-то оправдать его карьерную целеустремленность, а скорее за саму искренность. И когда Николай, отнюдь не шедший под первым номером в училище, лишен был права выбора места службы по выпуску и довольствовался заштатным гарнизоном, Федор сделал все, чтобы через положенные два года службы по распределению перевести его в Москву.

Правда, с точки зрения Вари, это было сделано поздно. Николай успел жениться в той тьмутаракани, где служил, и привез с собою очаровательную провинциалочку из мещан. Ко времени возвращения этого семейства Хомяков уже успел отгрохать в центре Москвы особняк, поразивший своей оригинальностью не только горожан. И в светском обществе зашептались:

- Какая безвкусица!
- Что ж вы хотите, миллионы демонстрируются.
- Демонстрируется золотой зуб в белоснежной улыбке Первопрестольной.

— Фо па¹, господа. Фо па!

А мешчаночка Анна Михайловна потеряла голову в первое же посещение:

— Я деткам своим буду рассказывать про ваше великолепие!

Варю это сразило наповал, однако брат оставался братом. Анна Михайловна приехала в Первопрестольную, как говорится, в интересном положении, но роды оказались не совсем удачными. Девочка Оленька получила легкую хромоту на всю жизнь, а ее родители — тяжкое ощущение вины.

А крест, о котором говорил отец — как о достойном дворянина занятии, достался Василию. Вольнодумцу, идеалисту, деятельному народнику в прошлом, искренне пытавшемуся заменить веру в Бога верой в людей. Замена не удалась, он вернулся к Богу, но иной, неофициальной тропой. Познакомившись и сблизившись с графом Толстым, уверовал в его учение и строго следовал ему примером личной жизни, без проповедей и колокольного звона утверждая заветы гениального своего друга и Учителя. И все в семье понимали, что избранный Василием крест был куда тяжелее всех прочих.

— Понимаешь, Церковь взвалила крест на плечи Господа и стрижет купоны, пока Христос в муках тащит крест на Голгофу. А наш Вася взвалил этот крест на собственную спину и сам несет его на свою Голгофу.

Так сказал Наденьке Иван, умница Ваничка, когда она приехала в Высокое помечтать и подумать перед началом последнего гимназического года. Он и тогда выпивал, но еще не спился с круга и, как показалось Наде, еще способен был верить в чудо. Во

¹ Напрасно, зря (*фр.*).

внезапное, как в сказке, возвращение Леночки. Наденька поняла это ожидание и, зная, что чуда не будет, почему-то начала готовить брата с несколько необычной стороны:

— А зачем Бог, когда все пружины заведены?

— Извини, сестренка, что-то я не очень тебя понял.

— Дядя Роман подарил мне часы с фигурками: от одной до двенадцати. Когда я завожу пружину, они каждый час начинают вальсировать. А жизнь — это же и есть заведенный Божьей пружинкой вальс. И когда подходит твой час, ты просто начинаешь танцевать, и тебе уже не нужен никакой Бог.

— Батюшки, как же изящно ты мне все объяснила, — улыбнулся Иван.

Наденька была рада, что он улыбнулся. Уж очень редко теперь появлялась улыбка на его заросшем худалом лице.

А вот с книгой — в отцовском понимании — никто из Олексиных так и не встретился. Не стал ни писателем, ни мемуаристом, ни журналистом, ни даже книгоиздателем. И тогда, в Высоком, Надя часто думала об этом, хотя подружки по гимназии думали совсем о другом.

3

— А он что сказал?

— А он так посмотрел, так посмотрел!

Все девичьи интересы вертелись вокруг «что сказал» и «так посмотрел», и Наденькины тоже. Но на нее почему-то никто из мальчиков «так» не смотрел, и это было обидно до слез.

Еще в четвертом, что ли, классе подружка пригласила ее погостить в их подмосковном имении,

и Варя разрешила. Там было много детей, но самое главное — там был «Он». Тот, который просто обязан был, по ее разумению, «так посмотреть». Наденька томно вздыхала, кокетливо обмахивалась веером, закатывала глаза и даже мелко-мелко рассыпала смешок, как то советовали подружки.

— Ах, как это забавно! Право забавно!

А он не смотрел. Приносил по ее просьбе лимонад, шоколад, зонтик, специально забытую книжку, но смотрел на другую девочку. Этакую толстую дылду, совершенно неинтересную, с Надиной точки зрения. Она отревывалась по ночам, а с утра начинала все сначала.

— Как вам нравится «Манон Леско»?

— Неопределенно, мадемуазель.

— Помните, там...

— Извините, не помню. И позвольте откланяться.

И тут же устремлялся на вызывающий хохот дылды. Катал ее на качелях, а Наденьку не катал. Ни разу. Причем не катал именно «Он» — другие катали. Но другие, они другие и есть.

Требовалось предпринять нечто экстраординарное, и Наденька решила пропасть, потеряться. Пусть побегают, тогда заметят. И после ужина спряталась в саду.

Вечер был теплым, комары кусались как оглашенные, но Наденька терпела. Стали звать — все равно молчала. Темнело быстро, поднялся ветер, зашелестел сад, и все бросились на поиски.

Когда тебя ищут, значит, беспокоятся, и это приятно. Сразу делаешься центром внимания без особых хлопот, если хорошо спряталась. А спряталась она очень даже хорошо, правда, к большому сожалению, не от комаров.

— Надя!.. Наденька!..

— Мадемуазель Надя!..

Надя терпела, пока возле ее куста не оказался «Он».

Тогда воскликнула: «Ах!..» — и вывалилась прямо к его ногам.

— Боже, вы — мой спаситель!..

А спаситель, вместо того чтобы нежно поднять ее с земли, отскочил в сторону и стал кричать. Как паровоз:

— Тут! Тут! Тут! Тут!..

На другой день Наденьку отправили в Москву, но она не долго расстраивалась. Как-то очень просто и быстро поняла, что подобные забавы не для нее, что в них она успеха не добьется и, следовательно, нужен иной путь для самоутверждения. Не общий для всех девочек, а личный. Путь Надежды Олексиной, а не истоптанная вседевичья дорога. И вскоре нашла этот свой, особый путь.

— Но высший балл за домашнее сочинение «Мотивы Чарльза Диккенса в творчестве раннего Достоевского», как всегда, у Надин Олексиной, — почти торжественно начал вскоре провозглашать преподаватель русской словесности Константин Фролович Березанский.

А тет-а-тет убеждал:

— У вас явные способности к сочинительству, мадемуазель Олексина. И, как ни странно для вашего возраста, к прозе, а не к поэзии. Но прозе поэтической. Трудитесь на этом поприще, испытайте его. Оно потребует много труда, может быть, столько, сколько не требуют иные сферы приложения духовных сил, но я верю в вас, Надин.

Надя много писала в последних классах гимназии. Девочки тоже писали, но — стихи, и непременно читали их вслух, а потом переписывали друг другу

в альбомы. Альбомы стихов — собственных и посвященных — были неперменным атрибутом женских гимназий, доброй старой традицией закрытых пансионов и институтов, и Наде пришлось-таки сочинить нечто, чтобы не обижать подружек. Но поскольку она не признавала рифм вроде «пошел — нашел» или «грозы — морозы», а искать новые не было времени, то и обошлась белыми стихами. Это произвело впечатление, и стихи старательно переписывали в каждый девичий альбом, особенно восхищаясь заключительными строками:

А соцветия черемух, Точно гроздья винограда...
Может, лучше: «Винодара»? Ведь вино надежды дарит.
Май в кипении черемух!..

Но альбомные стихи и оставались альбомными, а потому Надю удовлетворить не могли. Да и сочинялись уж очень легко и просто. А проза — трудно и медленно, с бесконечными помарками и переписываниями. И Наденька боготворила прозу, поскольку была самолюбива и жаждала достойной этого самолюбия победы.

В выпускном классе она в одну ночь неожиданно сочинила рождественскую сказку про бедного мальчика, потерявшего шапку в лютый мороз. В изначальном варианте мальчику помогла добрая фея, но через неделю Надя решительно сожгла в камине свое первое творение, никому, к счастью, его не показав. И трудно, с бессонными ночами, слезами и напряжением до головной боли переделала благодетельную сказочку в суровый рассказ. Как загулявшие бездельники на пари на всем скаку кнутом сбили с мальчика шапку. Как мальчик бежал за ними, умоляя вернуть эту шапку, на беду свою попал в незнакомые богатые кварталы, где за каждым окном сверкали нарядные елки, а вокруг весело и беззаботно танцевали сы-

тые карнавальные маски, и мальчик напрасно искал между ними обыкновенное человеческое лицо. Как мальчик, замерзая, робко стучался в равнодушные парадные подъезды, а самодовольные лакеи ругали его и гнали прочь. Как в конце концов он оказался в городском саду и заснул под елью в сугробе. И какой прекрасный рождественский сон снился ему в этой смертной постели. Какой мягкий, нежный, волшебный снег беззвучно сыпался на него всю ночь, и как нашли несчастного мальчика только через три дня, и как все удивлялись доброй улыбке, застывшей на его ледяных устах...

Конечно, Наденька понимала, что за ее плечом незримо присутствовал сам Некрасов: «А Дарья стояла и стыла в своем заколдованном сне...», но найти собственный финал не смогла и в таком виде рискнула показать рассказ Березанскому. И пока он читал, сердце ее стучало так часто и, как ей казалось, так громко, что она чуть не шлепнулась в обморок.

— Позвольте, мадемуазель, взять этот рассказ с собой, — как-то озадаченно, что ли, сказал Березанский. — Здесь есть над чем подумать.

— Сделайте милость, Константин Фролович, — сдавленным голосом еле выговорила Наденька.

— Благодарю вас, Надин. Верну в понедельник непременно таким образом.

Вероятно, так бы оно и случилось, только от всех трудов и волнений Наденька заболела. Домашний врач определил очень модное в те времена нервное истощение, прописал успокоительное, рекомендовал отдых и даже постельный режим. Варвара тут же уложила в постель, отобрала книги и читала Наде сама. А вечерами ее сменял всегда по горло занятый Хомяков.

К Роману Трифоновичу у Нади было совсем особое, не родственное, что ли, а почти восторженное отношение. Она отлично представляла себе, что Хомяков создал не просто капитал — это не считалось в семье Олексиных каким-то особенным достижением, о котором стоило бы упоминать, — нет, он создал нечто несоизмеримо большее. Роман Трифонович Хомяков создал самого себя практически без всякого трамплина. С нуля. А к подобным людям Наденька относилась не только с огромным пиететом, но с трепетом и восторгом. Вчерашний мужик обладал столь неординарными способностями, столь несгибаемой волей и жадой триумфа, что, по девичьему разумению, являл собою образец нового Героя нашего времени. Втайне она мечтала когда-нибудь (разумеется, когда подчинит себе непокорный, как степной аргмак, русский язык и станет настоящей писательницей) написать о нем роман. Иными словами, Роман Трифонович Хомяков уже оказался героем девичьего ненаписанного романа, не подозревая об этом ни сном ни духом. И еще он оказался единственным, кого Надя с детских лет называла дядей. А он сам — единственным, кто звал ее почти по-крестьянски: Надюшей, а не Наденькой, как то было принято в их кругу.

Самая крупная размолвка произошла между ними, когда Роман Трифонович решил отправить сыновей-погодков учиться в Германию, вместо того чтобы подыскать им хорошую частную гимназию в Москве. Варвара умоляла и плакала, плакала и умоляла, а Наденька взорвалась и обозвала Хомякова бессердечным мужланом.

— Насчет мужлана это, Надюша, точно сказано, — вздохнул он. — Только ведь потому и отсылаю, чтобы ребята мои в свой адрес такого слова никогда не слышали. А здесь — в Москве ли, в Петербурге

ли — услышат, да и не раз. Я души их сберечь хочу, потому и от своей и от Варенькиной их отрываю.

И Надя все поняла. Принесла Роману Трифоновичу свои извинения, как могла утешила Варвару, и погодки Хомяковы уехали в Германию с гувернером и двумя слугами. И в огромном хомяковском особняке опять воцарился мир.

— Русская литература, Надюша, оказала России неоценимую услугу. Она подготовила нас, как плебеев, так и патрициев, к реформам государя Александра Второго. Смелые начинания пошли сравнительно легко только потому, что Россия была готова к ним духовно. Литература приучила дворянство к мысли, что крепостной тоже человек, а простой люд — к пониманию, что дворянин не просто барин с плетью, а такой же русский страдалец, только образованный и в мундире. Поэтому бородачу в сапогах, — Хомяков только так именовал императора Александра Третьего в частных разговорах, — и не удалось повернуть Россию вспять, а лишь придержать ее развитие. Он, так сказать, взял Россию под уздцы, что сама Россия, по своему крестьянскому представлению о строгом барине, любит и всегда будет любить.

Как правило, Варя читала Наденьке прозу, а Роман Трифонович — только стихи. Он их очень любил (в особенности Некрасова), знал во множестве.

Вынесет все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе...

Надя вернулась в гимназию лишь через десять дней: в обществе тогда любили болеть со вкусом. И Константин Фролович Березанский с улыбкой сказал:

— А рассказ «На пари» я верну вам, мадемуазель, в напечатанном виде.

Оказалось, что он показал ее первое творение редактору «Задуманного слова». И через некоторое время Наденька с невероятным торжеством притащила журнал домой. Он был еще не разрезан и хранил в себе необыкновенный, ни с чем не сравнимый аромат свежей типографской краски.

— Вот гонорар, — сказала Надя, высыпав из кулака на стол тринадцать рублей с копейками.

— Прокутить! — воскликнул Хомяков, сияя пуще Наденьки. — Сегодня же! Выбирай ресторан, Надюша!..

— «Эрмитаж»! Там собирается вся богема!

Покатили в «Эрмитаж», а на другой день Хомяков велел купить сто двадцать пять экземпляров журнала. Одарили всю родню и всех знакомых, а двадцать пять номеров Роман Трифионович оставил у себя и вручал особо приятным ему людям.

— Приемная дочь написала. Жорж Санд растет, господа!

4

На волне этого внезапного успеха, успеха «вдруг», вроде бы ничем не подготовленного, Наденьку понесло со счастливой головокружительной быстротой. Она как-то очень поспешно, но тем не менее первым номером закончила в гимназии (и в аттестате официально отметили, что закончила она именно «первым номером») и с невероятным подъемом принялась строчить рассказы. Ей казалось, что идей у нее — великое множество, что стоит только их занимательно записать — и успех обеспечен. И увлеченно писала то, что ей представлялось идеями, и сама потащила

восемь таким образом сочиненных рассказов по редакциям, ничего, естественно, не сказав родным.

А рассказы не приняли. Где — вежливо, где — резко, не очень церемонясь. Обескураженная Наденька рыдала два дня, наотрез отказалась поехать в Высокое, чтобы развеяться и отдохнуть, и на четвертый день к ней заглянул Роман Трифионович, отменив три очень важных деловых встречи.

— Знаешь, почему это случилось? Потому что ты использовала в своем первом рассказе весь накопленный багаж. Литература — не сюжетики, литература — а русская в особенности — запас идей. А он тобою, Надюша, извини, исчерпан. Новые идеи ты можешь обрести только в жизни или мучительным путем самообразования. Не торопись, закончи курсы, и все образуется.

— Я лучше пойду в народ!

Хомяков грустно улыбнулся:

— Народ — это не миф, это живые люди, и я — один из представителей. Но я учился. Сам. Мучительно, до головокружения, чтобы выйти из той массы, которую мы именуем народом. Выйти, Надюша, потому что масса эта закоснела и способна жить только по инерции. Чтобы понять причины этой закоснелости, необходимо получить хорошее образование — с налета, по интуиции ни в чем не разберешься, ничего не поймешь, и суждения заведомо окажутся неверными. И мой тебе совет: иди-ка ты на курсы, девочка.

Но Наденька была упряма и так просто, по первому совету, изменить свою жизнь не могла. Все сожгла, пострадала, помучилась и в конце концов сочинила сказку, которую напечатал уж совсем малоавторитетный журнал.

А сказка была о том, как в половодье на сухой остров перебрались маленькие звереныши. Так ска-

зять, дети взрослых. Медвежонок и Лисенок, Барсучонок и Зайчок, Волчонок и Сорока. И как ради выживания они решили, что у них будет справедливое содружество, чтобы никто никого не съел. Президентом выбрали Мишу-медвежонка, Лизонька-лисичка сама напросилась на должность главного поставщика продуктов, Боря-барсук взял на себя строительство нор и убежищ, Зойка-зайчишка обещала доставлять овощи, Вовка-волчонок решил отвечать за всеобщую безопасность, а Серафима-сорока заверила всех, что будет регулярно сообщать, что творится в мире.

Естественно, ничего доброго из этого не вышло. Медведь спал и сосал лапу. Лисичка приносила четверть необходимого, лично съедая остальное. Барсук старательно рыл глубокие норы, в которые никак не могли влезть ни медведь, ни волк, а сорока влезать просто не пожелала. Зайчонок лопал всю морковку, которую должен был доставлять к общему столу. Волчонок гонял всех пришлых зайцев, с апетитом похрустывая косточками тех, кто не смог от него увернуться, а сорока разносила только сплетни. Кончилось тем, чем и должно было кончиться: островная демократия перестала существовать, сожрав саму себя.

Эту сказку напечатали в «Гусяре», самолюбие было удовлетворено, и Наденька послушно поступила на курсы.

И эти курсы оказались частными по настоянию Варвары, и там учили на год дольше всех остальных. Учили по европейской системе, требуя собственных рефератов, и у Нади не оставалось времени на сочинения просто потому, что она не желала да и не умела быть второй. И закончила первой, что и было отмечено в свидетельстве о ее праве преподавать рус-

скую словесность в городских училищах и прочих им соответствующих учебных заведениях.

Но на курсах Надежда прослушала обширный цикл лекций о журналистике, и это произвело на нее огромное впечатление. Эти лекции подводили логический фундамент под слова авторитетнейшего ее советчика Хомякова о постижении народной души. И Наденька твердо решила, что сначала станет известной журналисткой, а уж потом, набравшись идей, и писательницей.

Выбор был сделан.

Выбор был сделан — только не сердцем, а умом, потому что сердце оказалось занятым приятелем Георгия еще по юнкерскому училищу. Доселе Наденьке не случалось влюбляться — не считать же объектом влюбленности «паровоз», закричавший «Тут! Тут!», вместо того чтобы бережно поднять с земли обретенную пропажу. Ну, были, конечно, девичьи увлечения, легкие и приятные флирты, кокетливые, ни к чему не обязывающие свидания. А тут вдруг — усы, шпоры, сабля, и к тому времени уже золотые офицерские погоны. Голова пошла кругом, и все мечты о сочинительстве мгновенно из нее выветрились. Осталась одна мечта, но зато вполне практическая — наконец-то впервые в жизни услышать самые главные, самые заветные слова: «Надин, дорогая моя Надин, я люблю вас!..»

Выражаясь девичьим альбомным стилем, Наденька впервые ощутила стрелу Амура на выпускном балу. Курсы, естественно, были женскими, но бал женским быть никак не мог, и поэтому курсовое начальство рекомендовало каждой курсистке самой позаботиться о танцевальных партнерах. Надя пригласила Георгия, а он притащил с собой приятеля, что в резуль-

тате и привело к некоторым серьезным осложнениям. Как внешним, так и внутренним.

Бал, как и полагалось, открылся вальсом, и Наденька, как и полагалось, первый тур танцевала с приглашенным ею кавалером, в данном случае — с Георгием. Зато три последующих — с его приятелем, и это было восхитительно. Молодой офицер оказался живым и остроумным, легко шутил и легко болтал, и Наденькино сердце от тура к туру билось все чаще, а щеки горели все ярче. Но апофеозом бала, как и полагалось, должна была стать мазурка, в которой Надя — все сокурсницы признавали это (естественно, не без столь же естественной зависти) — не знала себе равных.

По желанию раскрасневшихся курсисток была объявлена большая мазурка, предусматривающая выбор партнерши из двух предложенных «качеств» перед третьей фигурой. И Наденька подвела свою подругу к двум приятелям — подпоручикам.

— Вечная разлука или вечное одиночество? — чуть ли не хором спросили они.

Георгий, разумеется, вежливо уступил право выбора своему гостю, на что, собственно, и рассчитывала Надя. А гость не задумываясь брякнул:

— Вечное одиночество!

А это самое «вечное одиночество» было «качеством» подружки Катрин, особы довольно ветреной, но весьма симпатичной. И Наденька была вынуждена отплясывать с родным братом. Правда, Георгий танцевал отменно, и все же это оказалось первым уколom.

И второй не замедлил воспоследовать — во время выбора «качества» среди кавалеров. Офицеры пошушукались и дружно шагнули к девушкам:

— Награда или удача?

Более шустрый приятель опередил Георгия с вопросом и задал его Катрин, которой поэтому и надлежало выбирать.

— Удача!

И Наденьке вновь пришлось танцевать с братом, что было уж совсем обидно. Настолько, что она вдруг припомнила, как прозвучал сам выбор «качества»: неожиданный гость задал вопрос первым, не согласовав очередности с Георгием, что в известной мере противоречило общепринятым правилам, хотя и не возбуждалось.

— Почему ты уступил своему приятелю право на выбор? — сердито спросила Наденька.

— Да просто потому, что меня твоя подружка не заинтересовала, а его, кажется, наоборот.

И Надя получила третий удар по самолюбию, уже от родного брата. Это было чувствительно настолько, что она даже сбилась с шага. К счастью, музыка смолкла, перед второй частью большой мазурки объявили перерыв, чтобы девушки могли поправить прически и туалеты, и Наденька сразу же прошла в дамские комнаты.

А симпатичная — ну, это, как говорится, дело вкуса — подружка Катрин появилась в них с непозволительным опозданием. Влетела, переполненная восторгом, так и сияя.

— Он угощал меня в буфете!..

— Волосы поправь, — сухо вато посоветовала Надя.

— А как он танцует, как танцует!

— Возможно, — сказала Наденька и вышла в зал. Во второй части мазурки выбора «по качеству» уже не было. Надя оттанцевала две фигуры с братом, а от третьей отказалась, сославшись на усталость, и весь бал приобрел вкус лимона без сахара.

Вероятно, Георгий что-то все же сообразил, потому что уже на следующий день притащил своего приятеля на ужин к Хомяковым. И Наденька распустила перышки, намереваясь во что бы то ни стало взять реванш. Болтала, шутила, смеялась — словом, флиртовала всю.

А он молчал. Противный подпоручик Сергей Одоевский. Да, да, из тех самых князей Одоевских, только не князь, поскольку происходил из боковой ветви огромного развесистого генеалогического древа знаменитых потомков самого Рюрика. Молчал весь первый вечер и мало говорил в последующие. И Наденька частенько рыдала в подушку, вместо того чтобы размышлять о журналистской карьере.

— Наконец-то счастливые слезы, — с удовлетворением сказала Варвара, не вовремя войдя в спальню младшей сестры. — Слава Тебе, Господи. Все естественное — разумно.

— Я его ненавижу!

— Ну и правильно делаешь.

— Он... Он — пшот и фанфарон!

— И здесь все правильно. Природа играет по отработанным правилам, сестричка.

— Идиотские правила!

— Возможно. Но, право, будет жаль, если их отменят. Для всех — жаль, а для девушек — катастрофа.

— Господи, о чем ты, о чем...

— Девушки все одинаковы, потому что они — дочери естества, самой природы, а юноши — продукт цивилизации, только и всего. Отсюда — женские моды: наша попытка подать свое естество в оболочке современности. И брак на небесах — это равновесие природы и цивилизации, гарантирующее его прочность и неуязвимость.